

Л.А. Озеров

Ифлийские годы (Александр Твардовский)

Впервые о Твардовском я внятно услышал в старом доме на улице Грановского, в комнате с балконом-фонарем. Здесь жила красавица и умница Екатерина Дмитриевна Трощенко. Литературный критик, она деятельно выступала в печати в начале тридцатых годов. Ее проблемные и полемические статьи были у всех на виду и имели успех. В тот вечер в гостях у Екатерины Дмитриевны был Дмитрий Петрович Мирский. На столе лежала папка, на которой было написано: «А. Твардовский. “Страна Муравия”»...

— Это надо читать! – посоветовал мне Мирский.

— Эту поэму вам надо прочесть всенепременно, – сказала Трощенко. – Ах, нет, я сейчас вам сама прочитаю...

И она увлеченно прочитала несколько отрывков из поэмы, — отчетливо помню ее чтение, которое так и хочется назвать восторженным и пылким.

Так впервые я познакомился со «Страной Муравией».

Рукопись я взял домой, в останкинское общежитие, и прочитал ее залпом. В ту пору стих и стилевая манера Твардовского, казалось, не могла меня увлечь. Я бредил Пастернаком. Но поэма увлекла меня естественностью своего звучания, чистотой красок и фактуры слова, умением говорить о живой жизни.

Многое запомнилось сразу же и надолго. В поэме несколько особенно понравившихся мне мест, в первую очередь вот это:

Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи:

— Как в двадцать лет
Силенки нет, —
Не будет и не жди.

— Как в тридцать лет
Рассудка нет, —
Не будет, так ходи.

— Как в сорок лет
Зажитка нет, —
Так дальше не гляди.

Стих движется своевольно, как беседа, но при том он точен и выверен. Разговорная, бытовая интонация естественно сочетается в описательных строфах с живописью словом, картинностью.

Возвращая поэму Екатерине Дмитриевне, я все это высказал ей и спросил об авторе — где он, что с ним.

— Поэма, вот увидите, быстро станет известной, может быть, даже классической, но она еще не напечатана. Говорят, Фадеев собирается печатать ее в «Красной нови». Но пока не держишь книжки журнала в руках, не говори, что вещь напечатана...

Как известно, «Страна Муравия» быстро завоевала признание читателей и критики. О Твардовском заговорили, притом не только с надеждой, как обычно говорят о молодом авторе, но и с почтением, как о человеке зрелом, уже сразу оправдавшем надежды. Панферов, рассказывали, ворчал: мол, рассказ о стране, которую ищет единоличник, взят из его «Брусков» без всякой ссылки на автора. Твардовский не скрывал этого очевидного факта, а Фадеев — так тот прямо и одобрительно высказывался по этому поводу в одном из своих выступлений.

Впоследствии Твардовский объяснил мне, что его заинтересовала сюжетная схема: герой путешествует по стране и видит разные области жизни, разные ее стороны и участки предстают перед читателями. Таковы образцы — «Дон Кихот», «Мертвые души», «Кому на Руси жить хорошо». Этой сюжетной схеме соответствует и «Страна Муравия». У Панферова это всего лишь эпизод, малая сцена, он прошел мимо своей возможности, другой же художник эту возможность сделал реальностью.

Вскоре после напечатания «Страны Муравии» я познакомился с Твардовским. Мы оказались студентами одного курса отделения русской литературы Московского института истории, философии и литературы, коротко называемого ИФЛИ. Это был год 1936. Ко времени встречи с Твардовским я уже проучился в ИФЛИ два с лишним года.

Немного о самом институте.

О нем не так-то просто рассказывать. Я недоволен своей памятью и завидую людям, которые могут излагать «все подряд», все как было, изо дня в день, из года в год. Моя память фрагментарна и вспыльчива, вот почему я не ручаюсь за последовательность изложенных событий, — за то, что было несколько раньше, а что было несколько позже. Зато я уверен в подлинности подсказываемого мне памятью. Моя забота — дать прежде всего портрет на фоне движущегося времени. Итак, немного о нашем институте.

После долгих лет отсутствия филологического факультета в МГУ, в пору, когда появилась новая, думающая, жаждущая всерьез применить свои силы молодежь, был организован в 1934 году Институт истории, философии и литературы. К работе были привлечены <...> лучшие знатоки классической филологии, историки русского языка, историки литературы. К этому надо добавить серьезный состав преподавателей по социально-экономическим, историческим и философским циклам.

<...>

Посмотрю сейчас — блаженное время! Я шутил: «В те дни, когда в садах ИФЛея...» Параллель с Лицеем была у всех перед глазами. Но расцветали все мы далеко не безмятежно...

Поступивший сразу на третий курс Твардовский медленно, но верно входил в нашу среду. Потом мы узнали, что он кончил два курса Смоленского пединститута, что уже были изданы в Москве в «Молодой гвардии» поэма «Путь к социализму», в Смоленске вышла вторая поэма «Вступление» и очерки «Дневник председателя колхоза». Еще позднее мы узнали о его поездках вместе с Исаковским по колхозам и совхозам области, о собирании фольклорных записей, о кузнице в Загорье, об отце, Трифоне Гордеевиче, о котором Твардовский говорил всегда почтительно и немногословно.

Год поступления в ИФЛИ совпал с годом напечатания «Страны Муравии», а в следующем, 1937 году появилась в «Октябре» статья Н.Н. Асеева об этой поэме, весьма хвалебная. Твардовский всегда помнил об этом добром слове старшего товарища. Без напряженности и ложной скромности он говорил, как для него это важно — поддержка Асеева. Инакопишущего, но чуткого и отзывчивого.

Твардовский, которого только самые смелые называли Сашей, а иные Трифоновичем, Трифоньчем, а третьи вовсе никак не называли, появлялся в институте в своем темно-синем, а потом и светло-сером костюме, чистом, хорошо отутюженном и ладно сидевшем на нем, будто это не сельский житель, а джентльмен. Он любил голубые рубашки. Галстуки менялись не часто, но всегда гармонировали с костюмом и рубашкой. Он не допускал небрежности. Был подтянут и носил портфель, в котором не было студенческой тесноты, все лежало на своем месте. Все его воспринимали как человека молодого, но уже по-своему солидного.

Белая голубизна его глаз была первым заметным его признаком, его отличием. Таких глаз не приходилось видеть. Твардовский часто морщил свой высокий лоб, и на лице тогда изображалось смущенное недоумение, желание понять собеседника, не быть ему в тягость. Брови удивленно, как-то по-детски, вскинуты. Это еще более открывало взгляд,

в котором было много упрямого желания понять окружающее, застенчивость и гордость. Косая прядь светлых волос падала на лоб, и Твардовский иногда легким и изящным жестом вскидывал их вверх, и они на несколько мгновений укладывались на место.

В складе речи и в произношении чувствовался житель северо-запада России, Смоленского края. В разговоре Твардовский исходил из истоков. Без особых специальных напоминаний в собеседнике возникало ощущение того, *откуда* он и *кто* он. Деревня Загорье, станция Починок были уже для меня местом, обжитым памятью, вниманием, любимым, важным для уроженца этих мест. Мне было интересно, я бы даже сказал — захватывающе интересно, вслушиваться в его речь, в интонацию ее, чувствовать не только, *что* он говорит, а *как* говорит. Речь у него была чистая, живая, родниковая речь интеллигента из народа, который мог в равной степени беседовать с односельчанами и с профессорами. У Твардовского был вкус к языку, чувствовалось, что в этом человеке происходил постоянный внутренний отбор слов, речений, способов передачи своих мыслей. В этом отборе не было ничего от пуриста или школяра, он охотно вводил в свой словарь новые слова, но вводил их не в силу того, что это делают другие, а потому, что самостоятельно пришел к этому.

Точность выражения у Твардовского стояла на первом плане. В этой точности воплощалась и красота выражения:

Посеешь бубочку одну,
И та твоя.

Эта «бубочка» верно легла в свое гнездо — интонационное, смысловое, ритмическое. В другом случае слово показалось бы легким, легковесным, сладковатым. А здесь оно весомо и незаменимо.

Вдали взлетает грузный грач
Над первой бороздой.

Я увидел этого грача. Сочетание слов «грузный» и «бороздой» дало мне это видение. Звуки живописуют.

Пласты ложатся поперек
Затравневших меж.

В нескольких словах — картина. Движущаяся картина.

Земля крошится, как пирог, —
Хоть подбирай и ешь.

Аппетитно сказано.

Интересовало Твардовского не только современное звучание русского слова. Стиль старинных писаний увлекал его. Так, занимаясь историей древнерусской литературы, Твардовский остановил свой взгляд на «Житии протопопа Аввакума». Я слышал, как он читал отдельные страницы этого «Жития», с каким пониманием говорил о ритмике и синтаксисе старинной повествовательной фразы — периоде. Он собирался этим заняться специально, но не знаю, удалось ли ему в дальнейшем это сделать.

В разговоре, когда был не в настроении, он владел интонацией главным образом вопросительной: «Ну, как там твое Останкино?» (об общежитии), «Ну, как там твои новаторы?» (о Хлебникове и Маяковском). Вопросительная интонация была одновременно и восклицательной, потому что в тоне вопроса содержался уже частичный ответ. За этой интонацией мне всегда слышалась внутренняя тревога Твардовского, его неудовлетворенность собой. Он отлично владел интонацией рассказчика, повествовательной, добротной, степенной, неторопливой. Слушать его было всегда интересно.

Это был подчас ершистый, колючий, иронический человек, трудный для самого себя, но очаровательный в минуты радости и редкой удовлетворенности сделанным и достигнутым. Конечно, он знал себе цену, у него было сложное чувство собственного достоинства, которое некоторым казалось гордыней, такой «шляхетской» неприступ-

ностью. Но поставленные им перед самим собою задачи в русской литературе и общественной мысли были столь высоки, что только по ним одним он соразмерял свою жизнь и свои свершения.

Внешне он был выдержан, спокоен, старался быть уравновешенным, что называется — владел собой. Но надо знать, какой ценой далось ему это. В нем была большая скрытая сила. Встретив человека, он начинал не с недоверия к нему, а с пристального приглядывания: в душе прикидывал дистанцию, на которую надо было впускать того или иного человека в свою жизнь. Эта дистанция диктовалась, разумеется, не утилитарными, не меркантильными соображениями, а выработанными с детства в крестьянской среде понятиями о человеческом достоинстве.

Ему было внове все, что творилось в студенческой среде. И хотя он явно не хотел с головой погружаться в эту студенческую атмосферу, ему было интересно наблюдать за всем, что происходит в институте.

Особенно любил он комические эпизоды, случавшиеся в аудиториях и в общежитии. В лицах я рассказывал ему, а он хрипло похахатывал.

Студенты глухо волновались —
В программу был включен Новалис.

Это мое двестише Твардовский советовал развить в стихотворную новеллу. Помнится, я написал ее, читал ему и другим студентам. Но новелла не состоялась, а двестише запомнилось.

Студенты, встретившись, сбивались в кучу и наперебой говорили, говорили. Эти сцепления в коридорах института, в общежитии, в метро, в Сокольническом парке были часты и желанны. Еще бы! Обсуждать, полемизировать, спорить по всякому поводу — какое наслаждение! Сколько на это потрачено времени! Стоит студент, ты к нему с вопросом, он отвечает, и — пошло, пошло...

Твардовский молчал, стоял в стороне, в одиночестве. Он не скучал. Не всякий решался «зацепить» его, он взглядом, жестом, осанкой мог легко «отшить» неприятного ему человека. Он был занят делом и далеко не всегда поддерживал так называемые «интересные разговоры». Зачем на это тратить драгоценное время! Изю дня в день он писал стихи, рассматривал их как главное дело жизни. А это главное дело забирало все его время и всего его целиком. Он писал стихи, как прозу, каждодневно, постепенно набирая высоту. В задачу недели, месяца, года входили отдельные стихи, циклы, книги. Он не терял времени. Его место в литературе определялось им самим, без аналогий. Он не хотел проходить по графе «крестьянский писатель» или «рабочий писатель», или «молодой писатель». Русская литература представлялась ему поприщем ответственным и многотрудным.

В институте Твардовский часто появлялся вместе с другим студентом — белорусским критиком Алесем Кучаром, они жили в ту пору в одном номере гостиницы.

— Пришел пан Твардовский со своим кучером, — шутили мы. Твардовский высокого роста, Кучар — невысокого, один светловолос, другой — шатен с высокими дымчатыми волосами. Они постоянно говорили о белорусских делах, и в их беседах неизменно принимали участие и другие студенты нашего курса — Алесь Жаврук и Андрей Ушаков, погибшие на фронтах Отечественной войны. Это было своеобразное белорусское землячество в институте.

Присутствуя на лекциях, Твардовский внимательно слушал их и делал заметки в своих блокнотах. В институтских коридорах во время перемен Твардовский разговаривал на темы лекций, его замечания были лаконичными и дельными.

Он любил слушать старых профессоров. Говорил он них с глубоким уважением, узнавал об их жизни и деятельности. Порой одним-двумя словами пытался определить человека, дать ему прозвище.

О Н.К. Гудзии, читавшем нам древнерусскую литературу:

— Даниил Заточник...

О Д.Д. Благом, ведшем курс русской литературы XVIII века:

— Попробуй сними с него цветную тубетейку и приложи парик того времени. Представляешь?..

Профессор Юдовский читал нам историю партии. Читал без конспекта, в свободной манере, словно рассказывал историю своей жизни. Впрочем, его жизнь вписывалась в общую историю. Говорил он обстоятельно, живо, наглядно. Был Юдовский в черных очках и кожаной черной куртке. Твардовский сказал:

— Бронепоезд 14-69...

После первой лекции М.И. Лифшица по курсу «Введение в историю эстетических учений» Твардовский, с которым мы сидели за одним столом, посмотрел на меня как-то странно и, наклонив голову, сказал почтительно и восхищенно по адресу лектора:

— О, это да, это голова! А ты говоришь — Вин-кель-ман...

В дальнейшем почтительность студента к преподавателю переросла в дружбу, длившуюся долгие годы. Твардовский не раз говорил мне, как много дает ему общение с Михаилом Александровичем Лифшицем.

Он говорил почти междометиями, но в его тоне проступала та восторженность, которая бывает у крестьян при встрече с настоящей образованностью. Я и позднее встречался у него с таким почтительным отношением, когда речь шла о старых профессорах, о ревностных знатоках своего дела.

Он умел, он искал способ радоваться. Мы идем по улице Горького. Снегопад. Рассказываю, как года три назад всей молодежью института по-особому празднично переживалась Челюскинская эпопея. А потом — перелет Чкалова, Байдукова, Белякова через Северный полюс в Америку, их посадка в Ванкувере, чествование героев, кортеж машин на улице Горького, балконы, кружатся листовки...

Твардовский оглянулся вокруг и просиял, словно это сейчас и происходило.

— Тем все это и хорошо, что тут не надо быть наедине со своей приватной думой, тут все переживается со всеми... — говорил он.

Вскоре после прихода Твардовского в ИФЛИ я написал о нем заметку в стенную газету «Комсомолия». Он впоследствии говорил, что эта заметка значила для него больше, чем многие обстоятельные статьи. Первая! Это было в пору, когда — после Смоленска — о нем еще не знали, когда слава была еще впереди, когда он был еще в неведении, как его встретят, что его ждет в Москве. Признаться, я мало еще знал и самого Твардовского, и обстоятельства его жизни. Он иногда бывал в наших общежитиях в Останкино, на Стромынке, на Усачевке.

Лежу на койке студенческого общежития в Останкине. Это четвертый корпус, который летом 1939 года, перед самыми государственными экзаменами, сгорел. Пока еще весна 1937 года. Весна мягко переходит в лето. Окно распахнуто в голубизну, которой недостает контрастного цвета для того, чтобы ясней осознать свою чистоту и безмятежность. И вот он, этот контраст, так недостававший этой голубизне — копна светлых мягких волос, обдуваемых ветром. Сперва вижу эти волосы, потом удивленно вскинутые брови, глаза того же, что и небо, но еще более светлого оттенка, белесые.

— Заходи, заходи, пожалуйста! — обращаюсь к Твардовскому. Он входит. В выражении лица некоторая хмурость, замкнутость.

Он ищет тона в разговоре, пробует этот тон — то шуточный, то иронический, то исповедальный, лиричный. Душа, ищущая контакта с другим человеком и недоумевающая, если его нет. Вот почему, мне кажется, никто из нас, студентов, никогда не знал, приласкает тебя Твардовский или обругает. Подверженный резким, видимо плохо управляемым сменам настроений, он не сразу овладевал и собой, и вниманием собеседника. В виде самоциты он высылал вперед чувство достоинства, этакую сановитость. А было

это всего лишь нежелание фамильярничать и позволять вмешиваться во «внутренне дела» его.

Заметка моя послужила моему сближению с Твардовским, хотя оно никогда не переходило в очень близкое знакомство и дружбу. Он иногда был нежен ко мне, иногда огорчительно груб. И мне как-то боязно было идти навстречу этой неровности, я сравнительно поздно узнал о действительных причинах этой неровности и о его способах найти душевное равновесие и место среди людей. Иногда Твардовский в свои молодые годы показывал пример терпения, я бы сказал — долготерпения, пример тактичности и мудрой, не по годам, незлобивости.

Году в 1938-м, в книжном магазине на Остоженке (ныне Метростроевская улица) я купил сборник стихов современных поэтов, пишущих о деревне. Кого там только не было! Его же, автора «Страны Муравии» и «Сельской хроники», не поместили.

Я возмутился и по пути к дому, где жил Твардовский, усердно накапливал силы возмущения, доходившие до прямого взрыва:

— Это сектантство! Групповщина! Надо протестовать!

Твардовский полулежал на диванчике. Он спокойно посмотрел на меня и так же спокойно сказал, когда я умолк, даже позволил себе краткую паузу после моего взрыва:

— Не поместили? Скажите! — произнес он нараспев. — Что, там указаны составители?

Он не стал ждать, пока я отыщу в книжке их имена, — его это не интересовало.

— Вот они и отвечают перед историей за свой вкус, выбор, за свои симпатии и антипатии.

Твардовский затянулся папиросным дымом (он в ту пору много курил, пачка «Казбека» всегда была в его кармане или потрфеле), мощно выпустил дым и сказал:

— Вот и все. А ты не суетись...

Мы иногда шли из института, из Ростокинского проезда, вдоль ограды Сокольнического парка к метро «Сокольники», если я ехал в город, а не шел в общежитие в Останкино. Он выходил у Дворца Советов и шел по Гагаринскому переулку домой. Как-то он показал мне дом, где снимает комнату. Так случилось, что устав от общежития, я, по совету своих друзей, снял угол в Чистом переулке и оказался соседом Твардовского. Он жил в одном из переулков на Пречистенке. Здесь я у него бывал, и наши разговоры были непродолжительными и касались поэзии. Он меня держал на отдалении, словно предлагал отношениям нашим испытательный срок. Но вместе с тем обнажал наши разногласия.

— Твоих Блока и Маяковского могу читать только из-под палки.

— Почему они мои?

— Но и не мои.

Должен признаться, что в те годы я сам далеко не все принимал и у Блока, и у Маяковского. Александр Трифонович знал тексты и того, и другого, и старался понять их, и неизменно думал о судьбах этих двух и других поэтов.

Чем же объяснить его сердитость, непримиримость, категоричность? Как известно, в дальнейшем не было ни такой сердитости, ни такой непримиримости, ни такой категоричности. Дело углублялось и потому осложнялось. Эволюция Твардовского была протяженной и значительной. Это особая тема.

Как я сейчас понимаю (и как не мог понять в молодые годы), ранний Твардовский утверждал в литературе нечто принципиально новое. Не декларативно, не декламационно утверждал он письмо, отличающееся не только от Блока и Маяковского, но и от многих других предшественников и современников. Это была глубоко духовная полемика, отталкивание. Без такого отталкивания, доходящего порою и до неприятия, не может быть серьезных шагов в искусстве.

Пусть нынешние любители поэзии не спешат обвинить Твардовского в кощунстве: ах, Блока, ах, Маяковского не принимал... Меня нисколько не коробило его «из-под палки». Я не видел в этом крамолы. Мне, напротив, нравилось это свободно выраженное мнение, верность выбранному пути. Вместе с тем здесь сказался сильный характер Твардовского, самостоятельность суждения, своя эстетическая позиция (она эволюционировала, но основы ее были заложены рано), стремление всегда гнуть свое. Ничего не хотел принимать на веру, брать с чужого голоса. Проверка всего — всем существом.

Основательно задумав и наметив свой путь, Твардовский завоевывал право на определенность и даже категоричность своих суждений.

...Однажды, доехав с Твардовским на метро от Сокольников до Дворца Советов, я предложил ему пойти в Музей новой западной живописи на Кропоткинской улице, находившийся в том здании, в котором сейчас помещается Академия художеств.

В студенческие годы я бывал здесь часто. Скалы в Бель-Иль, чайки на фоне парламента на Темзе, стог сена около Живерни, бульвар Монмартр в полдень, завтрак на траве, осеннее утро в Эраньи, мороз в Лувесьенне, портрет актрисы Самари, голубые танцовщицы... Я, грешным делом, любил это пиршество цвета.

После некоторого раздумья Твардовский согласился пойти в музей. Благо, день был жаркий, а в вестибюле музея повеяло прохладой, как в сенцах. Почтительно и робко озирая стены, Твардовский переходил от Моне к Писсаро, от Дега к Ренуару. Здесь он, хотя и кратко, останавливался, наклонялся к рамам, чтобы прочесть имя художника и название. Но как только он перешел из зала импрессионистов к новейшим художникам, как только он увидел Матисса и Пикассо, шаг его перешел в бег и он скучно и недовольно стал меня отыскивать в толпе зрителей.

Он увел меня в предыдущий зал.

— Ну, вот твой Сезанн. Написано: «Автопортрет». Да ведь это же огурец, натуральный огурец с глазами и носом.

Потом он остановил меня у картины Дега.

— Ну, вот твоя «Танцовщица у фотографа». Все хорошо. Но неверная нога, какая-то деревяшка, выброшенная вперед...

И вдруг он неожиданно для меня зарифмовал:

— Дега — нога...

Единственный за все время случай, когда в разговорной речи он позволил себе специально зарифмовать два слова.

Он отошел от полотен к окну. Невидящим взглядом посмотрел на город за окном и сказал:

— Слишком много так называемых впечатлений и слишком мало натуры.

Я пытался доказать ему, что он не прав, что натурой в ее объективности пусть занимается фотография, а живопись должна трансформировать виденное. Живописцы должны увидеть...

— Ну, и что же они увидели? Только свои искаженные сны. Нет, эти твои деятели съедают глаза, твои и мои, а не раскрывают их на мир.

Тогда мне, признаться, были неприятны эти выводы Твардовского, сделанные им с убежденностью, но без ярости. Потом я понял, что в другой области искусства он видел свою миссию в том, чтобы вернуть уважение к самой натуре.

Можно было не соглашаться с доводами и выводами Твардовского, но его позиция и то, как он ее защищал, и тогда вызвали во мне уважение. В тот день подтвердилась ранее раскрывшаяся мне очень важная в Твардовском черта — его принципиальность и неуступчивость в главном. Он никогда не хотел угождать собеседнику. В среде литераторов и художников распространена расхожая похвала — на всякий случай. Мол, чего я буду тебе перечить, соглашусь с тобой, лишь бы не спорить. Этак польстить неожиданным для самого себя согласиём, мнимым единством взглядов...

Видел Твардовский, что я увлечен импрессионистами, но он, не высмеивая эту мою привязанность, все же подвергал самой суровой критике тех, кто меня так увлек. С постоянством убежденного в своих принципах человека он отвергал художников, представленных в Музее новой западной живописи.

Я всегда помнил, что он старше меня на четыре года. Не много, но в молодости эта дистанция чувствительна, шуткой побаивались задеть не только его, но и людей, к которым он имел прямое или косвенное отношение.

Меня и нескольких моих друзей и собеседников «ифлийские мудрецы» называли «озерной школой», шутливо приписывая нам название известной школы английских поэтов. Этим подчеркивалась разнохарактерность художественных течений среди ифлийской молодежи. Во всяком случае, определялось различие Твардовского и его сторонников и сторонников других художественных взглядов.

Каждый из составлявших ифлийскую когорту молодых поэтов (Кочнев, Коган, Самойлов, Наровчатов, Леонтьев и другие) в той или иной степени желал вступить с ним в общестуденческий разговор, общаться на равных. Твардовский ошутимо отделялся, будто опускал незримый шлагбаум для такого общения. Он не рвался на вечера молодых, отказывался от почестей, диктуемых модой на новизну, на ведомственные «открытия» молодых дарований. Он, кажется, никогда не именовался молодым поэтом, — Бог миловал. Сразу же, когда к нему пришло признание, он вступил в круг мастеров. Ученичества не было видно. Следов работы не показывал.

Мы по молодости лет часто и очень щедро тратили свое время на досужие разговоры о том, о сем, это называлось — вести литературные беседы. Твардовский же не поддерживал их, как правило, не давал себе права увязнуть в них. Он шел по своей стезе — упрямо и неуклонно, он выполнял свой каждодневный урок.

Уже в начальную свою московскую пору, после публикации «Страны Муравии», он дружил с писателями старшего поколения, особенно с Фадеевым и Маршаком.

Несколько раз и спрашивал Твардовского, почему он так безотчетно преклоняется перед Маршаком.

— Ну, представь себе, ты приезжаешь издалека, у тебя еще не напечатанная в центре поэма, обстоятельства твоей жизни смутны, и ты не знаешь еще, на каком ты свете. И вот в вестибюле, возле гардероба, к тебе подходит человек, известный тебе по портретам и намного старше тебя, и говорит, не то спрашивая, не то восклицая: «Вы Твардовский?» — «Да, — отвечаю, — Твардовский». Он переспрашивает несколько раз: «Вы Твардовский?» — «Да», — говорю. Он берет мою голову за виски, как кувшин, целует меня в лоб, обнимает и говорит: «Я давно ждал появления такого поэта, и вот вы пришли». Ну, как бы ты отнесся к этому?..

На себе испытал я, что отношение Твардовского к людям были очень неровны. Всегда трудно было сказать, когда он приласкает, когда обидит, даже оскорбит. Он был неизменно верен своему душевному состоянию, а оно менялось, как погода весной — то повеет тепло, то снова хмурь и непогодь. Ему мучительно трудно было «властвовать собой», а так хотелось. В нем все время что-то боролось, что-то брало верх, потом «западало», с тем, чтобы снова оказаться на поверхности. И он искал и находил людей (главным образом старше себя), которые внушали ему более ровное отношение, по преимуществу почтительность.

Сам того, может быть, не желая, Твардовский заставил меня думать о природе дара и успеха, о творческом поведении поэта в современном мире. Честолюбие его было глубоко упрятым, корневым, крепким. Ничего суетного в суждении о людях и о литературе.

С молодых лет творчески его все больше интересовали судьбы людей-современников, судьбы народные. Таков характер его дарования. Я никогда не грустил, как иные, по поводу отсутствия у него любовных посланий. Другое было у него на уме, другое было в сердце, другое занимало этого человека.

Я спрашивал себя: когда он успел составить такое выношенное мнение о многом, обо всем? Он мог терпеливо выслушать чужое мнение. Но если был не согласен с ним, собирал складки на лбу, широко раскрывал глаза и ограничивался короткой внятной репликой: «Никак нет...», «Да нет же...», «Все не то...» Или: «Как можно!», «Как легковесно судят!», «Не своими словами вы говорите!..» Многое в Твардовском раскрыла война, послевоенная пора, но уже тогда, в ифлийские годы, определились главные черты его облика.

Разные люди, мы с ним жили в одну эпоху. Мы росли в разных условиях. Общей была для нас среда газетчиков, у него — смоленских, у меня — киевских.

Твардовский пристально вглядывался в лица студентов. Чувствовалось: он всех хотел понять, доискаться до корней. Отбрасывал мелочи. Судьбу задумывал крупно. Был собой недоволен и давал понять: это еще не все, он может больше, полнее, вот по-времените...

В 1938 году, в связи с шестидесятилетием со дня смерти Некрасова, Твардовский сделал в ИФЛИ доклад о некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо». Это был серьезный, самостоятельный доклад о поэме, которую он любил и знал. Чувствовалось, что выбор темы не случаен, что она прошла через всю жизнь Твардовского. А. Еголин, души не чаявший в Александре Трифоновиче, упоминавший его в своих статьях как одного из последователей Некрасова, вместе с Исаковским, на мой вопрос о том, как ему понравился доклад, ответил: «Редкий аспирант мог бы сделать такой доклад. Хоть сейчас в печать... — улыбнулся, губы у него растянулись от уха до уха. — Но Твардовский почему-то не хочет... — добавил он с сожалением.

В следующем, 1939 году, этот доклад стал курсовой работой Твардовского. Был он исправлен и дополнен или зачтен в качестве курсовой работы в его первоначальном виде — не помню.

В ту пору параллельно с некрасовским кружком или семинаром существовал пушкинский кружок или семинар. Первым руководил Еголин, вторым — Благой. Семинары не враждовали, скорее дополняли друг друга. Незачем было копировать споры революционных демократов с ревнителями «искусства для искусства». Своих споров было вдосталь. И среди этих споров главный — протест против вульгарной социологии, против тех, кто писателей прошлого, по ифлийской формуле, характеризовал так: поэт (имярек) «недоперепонял».

В пушкинском семинаре я сделал доклад «Лирика Пушкина», повлекший за собой «местного значения» дискуссию. Приближался 1937 год — столетие со дня гибели поэта. Эта знаменательная дата много выправила в толковании его творчества, и ученые, так недавно подсчитывавшие доходы помещика Пушкина, хором стали петь о национальном поэте, родоначальнике, основателе, основоположнике. Пушкин и Некрасов более не противопоставлялись, а сочетались, почти так же, как Чернышевский и Добролюбов.

В наших — в присутствии Твардовского — беседах о литературе Пушкин и Некрасов творчески возникали как две вершины, на которые в своем движении ориентировались те или иные современные поэты.

В нечастых беседах о Пушкине он был почтительно осторожен, словно бы откладывал окончательный разговор до новых времен.

— Поддержать талант — это предварительно создать атмосферу, в которой он мог бы существовать. Вот все ждут, что появится новый Пушкин. Ждут, А новые Пушкины являются только после того, как такая ат-мо-сфе-ра будет создана. Воздух — вот что нужно таланту. Нет воздуха — он погибает.

Позднее я нашел общее между этим высказыванием и тем, что о гибели Пушкина говорил Блок в пору, когда не хватило ему воздуха.

— Ты обязательно придешь к Пушкину, он вершина повыше Некрасова, — говорил я.

— Для моего материала «Кому на Руси...» ближе «Онегина», — отвечал Твардовский.

Говоря так, он, конечно, не противопоставлял Пушкина Некрасову: он понимал последовательность и определенность этих двух вершин русской поэзии. Но в годы молодые ему был ближе Некрасов, от этого никуда не уйдешь.

Несогласия наши шли по многим, по разным линиям. Меня задевало то, что Твардовский не проявлял никакого интереса к инакопишущим его товарищам по институту. В лучшем случае он отмалчивался, когда речь заходила о таких поэтах, как Багрицкий, Сельвинский, Луговской, Заболоцкий. Правда, Багрицкому он был благодарен за его доброе отношение к первым литературным опытам. Много позднее он помянет его добрым словом на съезде учителей. Но для многих же поэтов у него было одно словцо: книга. Эти, мол, не от жизни, а от книги. Все, что не входило в круг его понятий, в систему взглядов Твардовского, не согласовывалось с ними, мешало их стройности, он именовал литературщиной, говорил об этом неизменно уничижительно.

В качестве положительного примера поэта, порвавшего с книгой и пришедшего к жизни, он охотно называл Николая Дементьева и его «Мать». Это стихотворение выделял:

— Вот чего может добиться поэт, порвавший с книгой и вдохнувший воздуха жизни.

Уже в ту раннюю пору, после «Страны Муравии», «Сельской хроники», цикла о деде Даниле, у Твардовского появилось немало поклонников среди наших студентов. Он — высокий, статный, с неторопливо-раздумчивой походкой, ненавязчивый, гордый, сосредоточенный, со своей постоянной думой — выглядел уже и в ту пору вожаком, таким Кастусем Калиновским среди студентов-ифлийцев. Это восхищение достигло апогея, когда вместе с другими писателями Твардовский был награжден орденом.

Помнится общеинститутский митинг, смущение и радость самого Твардовского.

В институтскую пору поэтика Исаковского, Твардовского и близких им художников входила в литературный обиход, но далеко еще не была главенствующей. Не раз, не два в беседах от Ростокинского к Сокольникам Твардовский внушал мне, что отход русской поэзии от реализма Пушкина и Некрасова был бедственным, многого ей стоил. Расшатались устои стиха и прозы, говорил он, символизм и дальнейшие течения пагубно повлияли на литературу. Считал близкими себе таких поэтов, как Светлов и Голодный, отмечал их близость народно-песенной стихии. Зато не щадил Маяковского. Есенин, по его мнению, не знал деревни, это старая деревня. Павел Васильев деревни тоже не знает, фигляр, красные сапожки. Нам в ту пору это казалось провинциализмом. Я не соглашался с Твардовским, спорил с ним, доказывая, что литература не может жить без поиска нового, без обновления, без отказа от привычного... Он иронизировал над моей горячностью: мол, молодо-зелено...

<...>

Существовавшая при ИФЛИ литгруппа молодых поэтов-студентов как-то пригласила Твардовского почитать стихи и поделиться своими мыслями. В одной из аудиторий первого этажа набралось много людей. Твардовский после чтения сидел на подоконнике вдали и слушал, что говорят о его стихах. И хвалили, и поругивали, последнего было, пожалуй, больше. Я, помнится, сказал, что после первой книги многие поэты подводят, разочаровывают, вот почему мне хочется, чтобы Твардовский «не засиживался в девках» и от вчерашних своих достижений шел к новым. Твардовскому это мое выражение приглянулось, он глухо покашлял, словно поперхнулся махорочным дымом, и сказал:

— Что ж, попробую, понимаю твою тревогу, буду стараться не засиживаться...

В пору подготовки к первым выборам в Верховный Совет мы часто выступали в составе агитбригад в Сокольническом районе в рабочем клубе, на заводе «Красный богатырь», на избирательных участках. Твардовский обычно читал «Перепляс» из «Страны Муравии» и некоторые стихи из «Сельской хроники». Я, подзадоривая, просил его читать

про Данилу. Как-то, познакомившись летом с этими стихами, я написал Твардовскому письмо в Загорье или Смоленск, куда он в ту пору поехал. Ответа не получил, но при встрече он сказал:

— Хотел отвечать тебе, но вот думаю — скоро увидимся на занятиях и тогда поблагодарю. Приятно было, что тебе Данила понравился. Он может породить нового героя, не знаю, какого, но помоложе.

Много позднее, уже в пору Отечественной войны, после выхода «Василия Теркина», я напомнил Твардовскому о нашем разговоре по поводу деда Данилы и его героев периода «Сельской хроники».

— Ну, как же, помню. Скажу тебе так: писатель, конечно, органический писатель, через всю жизнь тянет одного и того же героя. Не обязательно под тем же именем. Он может менять звание и возраст, это даже обязательно. Но этот герой для этого писателя органичен, незаменим, что ли. И в этом смысле ты был прав, заранее почувствовав, предчувствуя то, что нельзя было предугадать: в героях «Муравии» и «Сельской хроники» уже зарождался «Теркин». Тот же мой земляк мирных лет оказался в военной шинели. А дальше? Что дальше? А дальше жизнь покажет...

Жизнь показала... А тогда, задолго до войны, я как-то отважился и на одном из избирательных участков, в агитпункте, прочитал в присутствии автора два стихотворения из цикла Твардовского: «Дело в праздник было, подгулял Данила...» Пародируя пьяного, я любил читать:

Чинно, благородно
Шел домой Данила.
Хоть в нетрезвом виде
Совершал он путь,
Никого обидеть
Не хотел отнюдь.
А наоборот,
Грусть его берет,
Что никто при встрече
Ему не перечит.

И еще читал я нараспев это:

Жил на свете дед Данила
Сто годов да пять.
Видит, сто шестой ударил, —
Время помирать.

Мне нравилось (да и теперь нравится) концовка — о прикнувшемся мертвым труженике, артистизм и лукавство этого Кола Брюньона русской деревни:

— На леса, — кричит Данила, —
Дайте мне топор!

Еще любил я и всюду с удовольствием читал «За тысячу верст от родимого дома...» — стихи, веющие смоленским ветром и несущие запах сена.

В том письме в Загорье я приветствовал Твардовского как поэта реальности и полузабытой в то время традиции. Речь шла о том, что позднее выразится в объективном тематизме, возвращенном Твардовским и поэтами его круга для нашей поэзии. Он говорил: существенная объективная тема. От восклицаний и космологических обобщений предстояло поэзии вернуться к действительной жизни, к реальности тридцатых годов нашего века. «Тема — это сам поэт», — думалось мне. Нет, говорил Твардовский, тема — вне поэта. Он ее вбирает в себя...

Задолго до тетки Дарьи, властно вошедшей в строки зрелых и последних лет, еще в довоенные годы возникали в разговорах Твардовского под разными именами народные персонажи (дед Пимен, Прохор, брат Федор, Пятрусь). От их лица и имени должно судить о происходящем. Это вырабатывалась народная точка зрения на событие. Моральной

основой для определения такой точки зрения было русское крестьянство. Поначалу Твардовский не считал, что я могу понимать *такое*, участвовать в беседах на *эту* тему, что могу поддерживать *такие* разговоры и даже интересоваться ими. Я понимал (и это позднее подтвердилось), что кто-то изображал меня Твардовскому в искаженном свете.

Как-то в Сокольниках, у Круга, в столовой, мы беседовали вдвоем, и я рассказывал Твардовскому о начале коллективизации на Украине, о бедствиях моей семьи, о моей работе в «Арсенале». Твардовский смотрел на меня удивленно, как бы не узнавая или знакомясь со мной заново. И уж совсем удивило его то, что я интересовался историей русского крестьянства от Татищева до Грекова и считал, что крестьянство не только государственный кормилец — оно составляет моральную основу русского общества. Для того чтобы проверить меня, он спрашивал о том или ином народном восстании, о голоде в Поволжье, о лесных пожарах, о Юрьевом дне... Спрашивал не столько любопытства ради, сколько для того, чтобы убедиться в недостаточном знании.

К сочинениям современников относился сурово. Миловал не многих. Любил подтрунивать. Подходя к стенду современных писателей на четвертом этаже ИФЛИ, показывал уверенно и утвердительно в сторону Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова, об остальных умалчивал.

<...>

Твардовский умел ценить преданность окружающих. Из старших современников он был предан тем, которые шли ему навстречу и были ему душевно близки. Мы не столько знали, сколько чувствовали, что в его институтском бюджете времени все большее и большее место занимали эти старшие, эти именитые, эти почтенные.

<...>

Наши разговоры всего интересней были, когда касались поэзии, ее стиля, рифмы, ритма, словаря, образности.

Твардовский рассказывал мне, как создавалась «Страна Муравия», как перебрал он сотни частушек того времени, пока не нашел для поэмы вот эту:

Меня высватать хотели,
Не сумели убедить,
Неохота из артели
Даже замуж выходить.

Здесь «выходить» работает на полную мощность, здесь двойной смысл.

Название хутора «Борки» он выбирал из десятков, если не из сотен названий.

Он говорил мне в аудитории перед лекцией Б.В. Неймана:

— Я люблю рифмы типа: реки — орехи. Не реки — веки, а так, чтобы аукался звук не тождественный, а равный по происхождению: к — х. Не реки — веки, не орехи — огрехи.

Не ручаюсь за порядок слов в размышлениях Твардовского, но порядок довода был такой, как я привожу. И пример «реки — орехи» — подлинный, подкрепленный его же стихами:

Но уже темнеют реки,
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи,
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел...

Меня тогда подкупило и озадачило точное знание того, чего он добивался от стиха, какого именно значения и звучания. Не любил игры в словеса, называл это «игрой в бирюльки». Но каждая малость стиха живо его интересовала, и оттого система его образов, поэзия в целом отличалась единством и осознанностью. Мастер, говорил он, знает, чего добивается, во имя чего добивается, в отличие от любителя, бредущего вслепую.

Иногда Твардовский показывал мне новые стихи, и я с любопытством заглядывал в его блокноты, где было все перемарано, но где выписано было — в который раз — окончательное решение. Он не торопился с выходом в печать. Тогда ему было двадцать семь — двадцать восемь лет, а выглядел он среди нас, юнцов, зрелым, сформировавшимся человеком. Внешне он был спокоен, сдержан, уравновешен. Но своя особая, постоянная дума владела им. И это всего заметней проявилось позднее — во время войны и после нее.

Развитие его было естественным и стремительным. Он не любил шума и разговоров о «творческом росте».

— Ты идешь за Некрасовым, а надо — за Пушкиным, — говорю ему.

— Это как сказать... А вот захочу и пойду за Пушкиным. Много лет спустя он мне говорит:

— Ну, вот видишь, и Пушкин мне сгодился.

— Кишка тонка.

Он мне этого не простил, как не мог простить и моей пикировки с Маршаком на Первом совещании молодых писателей, в 1947 году. Крестьянская почтительность к старшим и образованным оставалась у него до последних дней.

<...>